

превращающей животного человека в человека, просветленного огнем высокого духовного чувства.

- Алекторов А. Е.* [Рец.] // Русская мысль. 1898. Кн. 5. Рец. на кн.: Мамин-Сибиряк Д. Н. Легенды. Баскаков Н. А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». М., 1985.
- Блок А. А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1962.
- Дергачев И. А.* Жанр легенды в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка и пути развития русской литературы // Русская литература 1870–1890-х годов. Сб. 5. Свердловск, 1973.
- Дергачев И. А.* Д. Н. Мамин-Сибиряк. Свердловск, 1981.
- Каскабасов С.* В поисках счастья // Простор. 1991. № 7.
- Керлот Х. Э.* Словарь символов. М., 1994.
- Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. Свердловск, 1962.
- Соболева Л. С.* Образы «Слова о полку Игореве» в легенде Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сказание о сибирском хане, старом Кучуме» // Модификации художественной формы в литературном процессе: Д. Н. Мамин-Сибиряк – художник. Свердловск, 1989.
- Похлебкин В. В.* Словарь международной символики и эмблематики. М., 1995.
- Рассадин Ст.* «Сатиры смелый властелин». М., 1985.
- Русская литература и Восток. Ташкент, 1988.
- Тресиддер Д.* Словарь символов. М., 1999.
- Удинцев Б. Д.* Фольклор в записных книжках Д. Н. Мамина-Сибиряка. Свердловск. 1966.
- Д. Н. Мамин – Ф. Ф. Фидлеру [Письмо от 30 апреля 1898] // Литературные силуэты: Д. Н. Мамин-Сибиряк. Фонд Свердл. лит. музея, № 4383.
- Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление. Т. 1. Минск, 1998.



Л. М. Слобожанинова

Д. Н. МАМИН И П. П. БАЖОВ

Один был сыном священника из уральского поселка Висим, другой родился в семье квалифицированного рабочего в Сысерти, и оба в разное время стали «певцами Урала». В отрочестве и юности Мамин и Бажов прошли через одни и те же учебные заведения: Екатеринбургское духовное училище (бурсу) и Пермскую духовную семинарию. Оба представляют немногочисленную на рубеже XIX–XX веков разночинно-демократическую интеллигенцию и поднимаются в своих произведениях к вершинам русского словесного искусства.

Нет необходимости фиксировать различия между писателями Мамин-Сибиряком и Бажовым – они многочисленны и обусловлены не только неповторимостью творческой индивидуальности каждого, но также несовпадением конкретно-исторических условий, в которых проходила их литературная деятельность. Важнее момент преемственности, обозначающий определенную непрерывность литературного развития на Урале. Для Бажова не

проходит бесследно та «школа Мамина», свидетельством которой является его первая печатная работа – «Д. Н. Мамин-Сибиряк как писатель для детей»¹.

Доклад-статья Бажова не отличается четкой композицией, хотя центральное место занимают «Аленушкины сказки», высоко оцененные уже в 10-х годах прошлого столетия как классические произведения в области детской литературы. Бажов отделяет произведения Мамина для детей от той слащаво-сентиментальной литературы, «которая скользит по поверхности жизни, ласкает неопытный взгляд мишурой, манит легкими удовольствиями, уводит от действительности в царство мечтаний» (Урал, 1987, № 12, 170). Автор статьи размышляет над такими вопросами детской литературы, которые вряд ли разрешены и сегодня: надо ли раскрывать детям темные стороны жизни? имеет ли писатель право на изображение одних лишь светлых сторон? Бажов дает понять, что в этом случае не может быть однозначного ответа, ибо все решает талант и присущее художнику чувство меры. Мамин-Сибиряк обладал безусловным эстетическим чутьем. Городским детям, жизнь которых размечена только разными квартирами, а для избранных – какой-нибудь дачкой, Мамин рассказал о светлых уральских озерах, о бойких горных реченьках, о своих «милых зеленых горах», где и небо кажется выше, и люди добрей, где, сидя на вершине какого-нибудь шихана, можно часами прислушиваться к шепоту столетнего бора... Детям деревни Мамин рассказал со свойственной ему правдивостью о городе, о каменных колодцах-дворах, тяжелой доле детей в мастерских («В каменном колодце», «Вертел») (см.: Там же, 170–171). И все же, «какие бы темные стороны жизни ни изображал Мамин, в его рассказах чувствуется яркое солнце, вольная ширь, радость бытия, вера в человека и его будущее» (Там же, 71).

Еще не будучи писателем, Бажов присматривается к художественной структуре произведений Мамина о детях и для детей. Он подмечает в них «редкую образительность, богатейший лексикон народного языка, полный метких слов, и удивительно легкий блестящий диалог» (Там же, 171). Бажов приводит почти пророческие слова обозревателя из современного ему журнала «Исторический вестник» (т. XI) о будущем блестящем развитии детской литературы в России, одним из основоположников которой представляется Мамин-Сибиряк: «Детская литература Мамина так светла, красива, гуманна и поэтична, что, можно сказать, ничего другого, равного ей, в нашем книжном детском деле нет. Мамин-Сибиряк поставил своим преемникам в этом роде творчества такой уровень требований, что при выполнении их мы с нашей оригинальной детской литературой можем стать наряду с первоклассными произведениями западноевропейского пера» (Урал, 1987, № 12, 171).

Через два с половиной десятилетия уроки Мамина отзовутся в бажовских сказках «детского тона»: в «Серебряном копытце», «Огневушка-Поскакушке» и примыкающем к ним «Синюшкином колодце», а также другом творческом материале и в жанре сказа – не рассказа и не сказки, одна-

¹ Учитель Бажов выступает с докладом на литературном вечере, состоявшемся в Екатеринбургском женском училище 20 декабря 1912 года и посвященном памяти недавно скончавшегося в Петербурге писателя. Доклад был опубликован 12 мая 1913 года в газете «Екатеринбургские епархиальные ведомости» (цит. по: Урал, 1987, № 12).

ко с той же диалектикой в подходе к самой жизни. Достаточно напомнить, что на роль главного героя Бажов часто выбирает «сироту». В этом проступает нечто фольклорное, хотя мотив сиротства всякий раз реалистически мотивирован. Горькая судьба пятилетней Даренки, живущей в своей избе и вместе с тем «в чужих людях», не повторяет судьбу восьмилетнего Федюньки, которого совсем «загрызла» мачеха. Ситуация сиротства варьируется в «Синюшкином колодце»: «возрастной» парень Илья «вовсе былым остался – всю родню схоронил». К «жениховской поре» на прииске-то он «годов шесть либо семь робил».

И все-таки на каждого «сиротку» у Бажова находится по-настоящему добрый человек, и не только в сказах для детей, но и в сказках «для взрослых». Лаконичными средствами, без слащавой сентиментальности, свойственной так называемым святочным рассказам, распространенным в начале прошлого века, Бажов рисует образы простых людей, которые скрашивают жизнь одиноких детей, передают им свой опыт, согревают теплом и участием. Ничего «святочного» не несут в себе охотник Кокованя, бабка Лукерья, старатель дедко Ефим, малахитчик Прокопич или Никита Жабрей. Вера в нравственное здоровье народа и высокое мастерство в обрисовке характеров позволяют Бажову избежать впечатляющих картин «детской каторги», которым он не доверял даже в рассказах позднего Чехова.

Трогательный союз стариков и детей встречается в произведениях Мамина. Можно даже заподозрить автора «Малахитовой шкатулки» в повторении образной ситуации, присутствующей в рассказе «Емеля-охотник»: шестилетний Гришутка просит старого охотника Емелю «добыть» в лесу маленького олененка – «обязательно чтоб желтенького». Долго бродит старик и пес Лыско в поисках матки с теленком, а когда находит, залюбовался Емеля красотой матери-оленухи, а главное, понял ее самоотверженность. «Благородное животное десятки раз рисковало жизнью, чтобы отвести охотника от спрятанного теленка».

Не удалась на этот раз охота. «Пожалел зверя, – объяснял он Гришутке, – матку пожалел. Как свистну, так он, теленок-то, как стреканет в чащу, – только его и видел. Убежал, пострел этаким...». Удивительно, что Гришутка, дождавшийся теленочка, доволен случившимся. Засыпая под рассказ деда, он «несколько раз спрашивал старика: – Так он убежал, теленок-то? – Убежал, Гришук. – Желтенький? – Весь желтенький, только мордочка черная да копытца. – Мальчик так и заснул, и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял в лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне» (Мамин-Сибиряк, 1981, VI, 419–420; в дальнейшем издании цитируется с указанием тома и страниц).

Рассказ «Емеля-охотник» несложен, однако глубок. В «детском варианте» Мамину удастся выразить высокую гуманистическую тему искусства: просветляющее душу постижение прекрасного. От старости и юности переходит освобожденная от малейших признаков ханжества способность воспринимать природную красоту. Но столь же убедительны в этом старые и молодые герои бажовских сказов. Они любуются козликом с серебряным копытцем, восхищаются «ловкой» пляской Поскакушки и красотой молоденькой мраморной девчонки, которой на третий раз оборачивается бабка Синюшка.

Незаемными средствами Бажов достигает уровня той «очаровательной простоты», которая восхищала его в «Аленушкиных сказках». Глубокое

понимание детской психологии позволяет автору сказов удержаться в рамках художественной структуры, доступной для самых маленьких: это стремительное развитие действия, не предполагающего «отходов в сторону» (выражение Бажова); яркая, впечатляющая кульминация с элементами фантастики, за которой, как в сказке, тотчас же следует развязка; «легкие, блестящие» диалоги-сценки, характеризующие участников и продвигающие само действие, наконец, «тенденция», которая «не выявляется до назойливости», потому что достигается «изображением». Творческий вклад Бажова в детскую литературу бесспорен, как бесспорно и то, что в сказах «детского тона» находят свое отражение творческие уроки Мамина.

Оба они по праву считаются летописцами родного края. Характерно, что их привлекали одни и те же («судьбоносные») события для Урала: это Сибирский поход под предводительством Ермака, возникновение первых заводов на Урале и строительство Екатеринбурга, крестьянские движения второй половины XVIII века, в том числе волнение крестьян, известное под названием «дубинщины», и восстание под руководством Пугачева.

Связи-отталкивания Бажова и Мамина прослеживаются постоянно, как, например, в сказе «Ермаковы лебеди» (1940) и в очерке «Покорение Сибири» (1882). Так, Мамин не знает сомнений в уральском родословии отважного атамана, который, по его убеждению, «родился и вырос на Урале, в вотчинах Аники Строганова. Это произошло таким образом. Дед Ермака был посадский человек из города Суздаля; его звали Афанасием Григорьевичем, по прозвищу Алениным...» (Мамин-Сибиряк, 1978, 237). Далее Мамин излагает достаточно известные сведения о Ермаке, возможно, известные ему из книг П. Небольсина «Покорение Сибири» (СПб., 1849) или из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

Бажов куда менее категоричен в утверждении уральского происхождения Ермака, хотя рассказчик, видимо, из чувства «местного патриотизма», свойственного носителям фольклора, приводит, казалось бы, неоспоримые доказательства в пользу «уральской» (а не «донской») версии. «Нет, друг, не думай, что по воде дорожка гладкая, — убеждает он своего слушателя. — На деле по незнакомой реке плыть похитрее будет, чем по самому дикому лесу пробираться. Главная причина — приметок нет, да и не сам идешь, а река тебя ведет. Коли вперед ее пути не узнал, так только себя и других намаешь, а можешь и вовсе с головами загубить».

Однако сказовое слово — двойное слово и само по себе не дает оснований принимать точку зрения рассказчика за мнение автора. Бажов, безусловно, понимал, что ни исторические труды, ни показания Сибирских летописей не позволяют судить с точностью о донском либо уральском происхождении Ермака. Дискуссионность в решении вопроса представляется наиболее приемлемой.

С Маминим-Сибиряком Бажова сближает пристальный интерес к истории Екатеринбурга. Есть основания полагать, что последнее крупное произведение Бажова — мемуарно-биографическая повесть «Дальнее — близкое» (Из воспоминаний о нашем городе, 1949) — создавалось Бажовым как прямое продолжение очерка Мамина-Сибиряка «Город Екатеринбург» (1889). Бажов фиксирует те явления из экономической и культурной жиз-

ни города, которые не вошли в очерк Мамина. Оба писателя хорошо представляли особую роль Екатеринбурга как одного из центров металлургической промышленности России. Размышления Бажова о Мамине и Екатеринбурге передает в своих воспоминаниях И. А. Дергачев, причем в стилистике, близкой к бажовской речи: «Мы узнаем у Мамина об историческом прошлом Урала больше, чем накопила об этом историческая наука. Вот, например, Екатеринбург. Истории нашего города, надо сказать, мы совсем не знаем. А это был единственный город, являющийся центром русской металлургии, промышленной базой нашего государства. У Мамина это отражено. Он хорошо понимал это, когда всячески и несправедливо бранил Пермь, называл ее городом Моховым, а Екатеринбург Узлом. Было у него ощущение громадного значения города горного Урала для страны, для развития народа, как организатора рабочего труда» (Дергачев, 1973, 394).

Существует вместе с тем полемика Бажова с Маминым относительно того, как освещалась история Екатеринбурга в исторических трудах прошлого. Бажов был убежден, что все, кто писал о строительстве города и о его развитии, начиная с письменных свидетельств «генералов-строителей» В. Геннина и В. Татищева, преуменьшали созидательную роль «мастеровых и работных» людей. Пафос (и эффект) его выступления на Первой научной конференции по истории Екатеринбурга-Свердловска (12 апреля 1947) состоял в том, что назывались одно за другим имена строителей екатеринбургской плотины, Каменского и Невьянского заводов, горновых, выпустивших первое уральское железо, старателя, открывшего первое уральское золото, изобретателя Л. И. Брусницына, открывшего «простой способ промывки золотоносных песков», и др. Располагая сведениями, накопленными позднейшей исторической наукой, Бажов, по всей видимости, имел основания упрекнуть некоторых уральских историков (Нила Попова, Н. К. Чупина) и Мамина-Сибиряка в «одностороннем освещении истории строительства города и развитии горного дела на Урале» (Бажов, 1955, 71).

Однако следовало ли из этих фактов прямое и не раз повторенное Бажовым суждение о том, что Мамин «плохо знал рабочего человека»? Из воспоминаний К. В. Боголюбова: Бажов «любил Мамина за то, что он рисовал правдивую картину пореформенного Урала, за искренний демократизм, за его чуткость к общественным проблемам. Однако неизменно добавлял: “А рабочего-то он знал плохо”. И вот здесь он обычно приводил в качестве наиболее яркого примера творчество А. П. Бондина» (Боголюбов, 1951, 64).

При всем уважении к Алексею Бондину, его имя не сопоставимо с именем Мамина-Сибиряка. По какой же логике возникает в рассуждениях Бажова фигура писателя из рабочей среды? Скорее всего – в силу приверженности автора «Малахитовой шкатулки» к некоторым советским идеологическим мифам. В данном случае – к упрощенному представлению о народе (точнее, о людях физического труда) как создателе всех материальных, технических и духовных ценностей. Ради этого убеждения Бажову приходится даже несколько потеснить высокообразованную русскую интеллигенцию в сказах «Чугунная бабушка» (1944) и «Коренная тайность» (1945).

Воздействие другого исторического мифа снижает эстетическую значимость сказа о пугачевском движении («Кошачьи уши», 1939). Надо полагать, что Бажов, разделявший фольклорно-поэтическую версию о Пуга-

чеве как народном избавителе и заступнике, не был творцом идеи, согласно которой массовые народные движения прошлого уже с конца 20-х годов рассматриваются в той отдаленной перспективе, завершением которой стала Октябрьская революция. Сама по себе эта идея словно носилась в революционной атмосфере пооктябрьского десятилетия. Во всяком случае ею определяется истолкование Бажовым «дубинщины» в одном из его газетных очерков 1928 года: «Первое крестьянское восстание “дубинщина” (в 1764 году), усиленное выступление в полосу пугачевщины (1774 году), картофельный бунт (в первой половине 19 столетия) – все это звенья той же цепи, в конце которой в революционную пору стал крестьянских “красных орлов” полк». Бажов убежден, что именно в то время «закладывалось революционное настроение крестьянства» (см.: Бажов, 1928).

Пугачев, как предтеча социалистической революции, в метафорической форме, но тем не менее с полной отчетливостью характеризуется в сказе «Дорогое имячко». Представим ассоциативный ряд. Бажов строит этот ряд на устойчивом для русского демократического сознания (после романа Чернышевского «Что делать?») восприятии образа невесты как символа революции. Угадать имя невесты значит отыскать ключи к сокровищам Азов-горы, т. е. к счастью народному. Горестный плач девушки над телом возлюбленного обозначает народные страдания. Плач сменяется «веселой байкой» как раз на то самое время, «когда еще Омелян Иванович объявился и рабочие на Думной горе собираться стали. Так вот старики наши сказывали, будто в то время из Азов-горы как песня слышалась. Ровно мать с ребенком играет и веселую байку поет».

«Сращение» большевистского мифа с легендой о Пугачеве-избавителе усиливало воздействие самого мифа, придавая ему свойства более глубокой «народности». В 40-е годы Бажов еще раз обращается к мотиву «избавителя» в сказе «Богатырева рукавица», где богатырь Денежкин Урал радуется тому, что дождался, наконец, «настоящего, с понятием. Дождались!». «Спи теперь спокойно, – обращается он к Стрекотухе, – а я сдачу объявлю, – усилился и загрохотал вовсе по-молодому на всю округу: – Слушай, понимающий, последнее слово старых каменных гор. Бери наше дорогое на свой ответ...»

В «Богатыревой рукавице» мотив долгожданного избавителя расцветается сказочной фантастикой – в сказе «Кошачьи уши» (1939) художественный текст «высушивается» социальной тенденцией. Почти совсем пропадает то «бремя страстей человеческих», которые волновали рабочих того же Полевского завода и Гумешевского рудника в сказах «Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка» и «Сочневые камешки», «Каменный цветок» и «Горный мастер», «Про Великого Полоза» и «Змеиный след», также создававшихся во второй половине 30-х годов. Те же рабочие испытывают лишь чувство классовой ненависти к барину и приказчику, жажду социального освобождения и неудержимую тягу к бунтарскому протесту, о чем свидетельствует удручающий заключительный эпизод «про Дуняхину плетку».

Живое участие вызывает разве что молоденькая Дуняха в то время, когда в одиночку проделывает сорокаверстный (!) путь от Сысерти до Полевой по предпринятому лесу. Здесь как-то все понятно и близко. Немудрено, что немного сбилась с пути и припозднилась. А тут – волки. Неотступно следом идут целой стаей. Топор в руках надежен, да что же сделаешь одна-

то? «Бежать – сразу налетят, в клочья изорвут, на сосну залезть – все едино дождутся, пока не свалишься». Спасением оказались «кошачьи уши». Тут уж ни читателю, ни Дуняхе некогда разбирать, откуда взялись эти бездымные языки пламени: сернистый ли газ, скапливающийся в золотоносных слоях, таким образом выходит на поверхность или это какие-то проявления «тайной силы». Побежала Дуняха на эти огни да и очутилась на берегу Чусовой... К сожалению, все последующие события соответствуют общепринятой схеме: рабочие расправляются со стражниками, «старики» колеблются, «опамятовшийся» заводчик жестоко расправляется с бунтовщиками, а самая активная молодежь уходит в леса. Вместе с нею и «птаха Дуняха улетела».

В сказе «Кошачьи уши» не содержится сколько-нибудь самостоятельной авторской мысли, не обнаруживается ни малейшей попытки разобраться в причинах реального факта: в силу каких причин пугачевское войско под командованием Грязнова той же зимой 1773–1774 годов было оставлено на Челябинском тракте в районе Щелкуна рабочими сысертских и екатеринбургских заводов еще до похода регулярных правительственных войск.

Трудно согласиться с мыслью о «развитии» Бажовым темы пугачевского движения, впервые разработанной Маминым в повести «Охонины брови» (см. об этом: Батин, 1983, 184). Скорее происходит нечто парадоксальное: Бажов попадает во власть той самой тенденциозности, отсутствие которой считал одним из главных достоинств творчества Мамина. Бажова не тревожили обвинения ни в «фотографичности», ни в «атеоретичности», «чуждости теоретическим проблемам эстетики», которые предъявляла Мамину народническая и легально-марксистская критика (см.: Неведомский, 1919, 336). Под «теоретичностью» он понимал зависимость от тех или иных философско-мировоззренческих программ.

В этом случае необходимы некоторые уточнения. Отрицательное отношение к «атеоретичности» (т. е. тенденциозности) Бажов выражает задолго до написания сказов, тематически связанных с пугачевским восстанием, – речь идет о статье 1922 года, посвященной десятилетию со дня смерти Мамина-Сибиряка и помещенной в труднодоступной для современного читателя газете. По этой причине приводим принципиальное, на наш взгляд, высказывание, в котором Бажов выделяет в первую очередь «художественную точность» Мамина, присущее этому писателю величайшее доверие к жизни: «Мамин подходил к событиям жизни без определенных заданий и писал то, что видел, и так, как видел. Эта фотографичность в соединении с огромным художественным дарованием имеет особую ценность, дает яркое изображение действительной жизни Урала без окраски под углом авторского миропонимания, чем в значительной части грешило большинство литераторов-народников. Недаром критики народнического толка, всегда считавшие Мамина-Сибиряка народником, отмечали неоднократно, что вот-де Мамин не усмотрел того-то и того-то, в действительности же эти “недосмотры” заключались в том, что Мамин смотрел на явления жизни, как они есть, а не так, как требовалось народнической догмой» (Бажов, 1922).

Бажовское восприятие творчества Мамина как отражения самой жизни во всей ее полноте дает ключ к пониманию многих его произведений, в том числе исторической повести «Охонины брови» (1892). Впечатление такое, что Мамин вовсе и не анализирует «дубинщину»-пугачевщину –

события, исторически разделенные десятилетием, но сливающиеся в повести «Охонины брови» в единое драматическое действие. Читателю, который помнит советские исторические романы, покажется странным, что Мамин не дает подробного анализа социально-исторических корней массового антифеодального движения крестьян и «рабочих людей» Урала, не «вскрывает» идейную незрелость народных вожаков и руководителей; что писателю достаточно самого короткого сообщения об участии, постигшей некоторых персонажей: «в нижней клети усторожской судной избы» томились дьячок Арефа, слепой старец Брехун и «беломестный» казак Белоус, что все они шли по одному «судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье воеводой Полуэктом Степановичем Чушкиным. Дело было не маленькое: бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут. Так их и водили на допрос к воеводе» (IV, 367).

Собственно, этим и ограничивается Мамин в обрисовке самого исторического события, предпочитая во всем остальном тексте «просто изображение». Он подробно расскажет о злоключениях дьячка Арефы, неожиданно освобожденного воеводой, которого поразила смелая дьячкова дочка Охоня; о том, что Арефа решает бежать от «лютого» игумена Моисея к заводчику Гарусову, а попадает, как говорится, из огня да в полымя.

Мамин не обременяет читателя «социальным анализом», когда повествует о неодолимой страсти, которая охватила пятидесятилетнего воеводу. Вероятно, с точки зрения серьезного литературоведения это нечто лишнее: не случайно ни один из исследователей, разбиравших «Охонины брови», не удостаивает воеводу знаками внимания. А между тем это художественный текст.

«Со страстями-то, со страстями попробуйте справиться...» – говорил некогда своему подопечному Порфирий Петрович в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание». В самом деле, опостылела воеводе Чушкину его растолстевшая воеводша. Испортил ли его «проклятый дьячок», присоветовавший весьма пикантное средство для появления давно ожидаемого наследника, либо что другое попритчилось, но совсем сдурел воевода. Осталось лишь ехать к игумену Моисею в Прокопьевский (Далматовский) монастырь. Да не помогло и строгое покаяние, хотя по приказу игумена воевода подметает монастырский двор и даже стоит караульным у монастырских ворот. Кончилось все тем, что выкрал воевода Охоню из Дивьей обители и заперся с нею в своем доме, бросив в монастыре воеводшу. Да и с Охоней что-то неладное происходит: забыла она «соколиные очи» казака Белоуса, польстилась на наряды да на сладкое житье в доме усторожского воеводы... К чему все это? – спросит иной строгий читатель. А к тому, что это и есть сама жизнь или те «яркие куски жизни», которые, кстати, так восхищали Бажова в произведениях Мамина-Сибиряка. Благодаря таким вот «кускам» повесть не стала «социальным исследованием», которому подошло бы какое-либо совсем другое название, скажем, «Дубинщина-пугачевщина», а тут всего лишь – «Охонины брови».

Мамин-Сибиряк ни на минуту не оставляет своих героев. Вместе с Арефой он попадает на завод к Гарусову, где его для начала угостили «шелепами», после чего поставили к домне. Здесь физически крепкому дьячку сначала показалось даже легко: он свободно управлялся с двухпудовой крицей, которую надо было подавать мастеру. Только вот «раскален-

ная крица жгла руки, лицо, сыпались искры и вообще доставалось трудно. Недаром кричные мастера ходили с красными, запеченными лицами. Все были такие худые, точно высохли на своей огненной работе». Побывал Арефа в Медной горе. Однако не в той, где распоряжается справедливая Хозяйка, но в той, из которой нет выхода, если не придет на выручку «ба-тюшка Омелян Иванович».

«Самим изображением» у Мамина сказано главное: бунтовать не веле-но, однако и не бунтовать нельзя; «затошал народ вконец, хоть одна дох-нуть». Все надежды теперь на «избавителя» и «заступника», который «уви-дит нашу маяту и выручит всех». Отсюда и угрозы по адресу заводчика: «Погоди, отольются медведю коровьи слезы. Будет ему кровь нашу пить... по колен в нашей крови ходить... Вот побегут казаки с Яика да орда со степей подвалит, по камушку все заводы разнесут... тряхнут заводами и монастырем, и Усторожьем...» (IV, 423).

Так и «тряхнули», как предсказывал умирающий в шахте мастеровой, хотя, чтобы показать бунт, Мамину не пришлось отказываться от изобра-жения страстей, которыми по-прежнему живут воевода, Арефа, дьячиха, игумен Моисей и даже такие второстепенные персонажи, как мать Доси-феи. К сожалению, ярких красок явно не достает для Охони и Белоуса. Бажов считал эти образы «неясными» и «незаконченными» (см.: Бажов, 1955, 85) и все-таки любовался романтической стилистикой повести, ког-да говорил (в беседе с И. А. Дергачевым), что «“Охонины брови” так и просятся на театральный язык, на язык оперы» (см. об этом: Дергачев, 1977, 192). Правда, Мамин с не меньшим искусством владеет иронией: например, в трагикомическом рассказе о том, как закончилась бурная дея-тельность воеводы Чушкина, читаем: «Лет через пять после пугачевщины под Усторожьем показалась шайка разбойников. Предводителем был стар-ый пугачевский атаман Белоус. Воровские люди грабили по дорогам ку-печеские обозы и наезжали к самому городу. Говорили, что Белоус часто бывает в самом Усторожье. Старый воевода востепенулся. Надо было ло-вить разбойника. После того как разбойники убили игумена Моисея и похи-тили монастырскую казну, Полуэкт Степанович самолично отправился ло-вить Белоуса, но это предприятие закончилось совершенно неожиданно и нео-бычно. Разбойники разбили воеводских воинских людей, взяли самого Полу-экта Степановича в полон, высекали и отпустили домой...» (IV, 470).

«Просто изображением» Мамин вскрывает историческую неизбежность дубинщины-пугачевщины и разрушительные итоги народного мятежа. Сам автор как бы стоит над событиями, не решая, на чьей стороне правда. Его восприятие двойственно хотя бы потому, что на двух противоположных сторонах стоят две несколько романтизированные фигуры: казак Белоус, осаждающий Прокопьевский (Далматовский) монастырь, и инок Гермо-ген, который толково руководит обороной. Это он любовно целует и гла-дит брошенную ему Белоусом Охонину косу, а после бережно хоронит ее. Социальная буря разметала героев: от руки Белоуса погибла Охоня, дья-чок Арефа и мятежный поп Мирон присуждены в монастырь. Уцелела лишь изворотливая дьячиха Домна Степановна, которая переехала в Устюжье и «торговала там в обжорном ряду» (Там же, 469).

Повесть «Охонины брови» стоит в ряду четырех произведений, кото-рые в 1934 году отдельными книжками выходят в Свердловском отделе-нии Гослестехиздата, где в то время работал Бажов. Кроме этой повести,

он редактирует еще два романа Мамина: «Горное гнездо» и «Три конца»². По свидетельству К. Боголюбова, Бажов сам выбирает рисунок на обложку романа «Горное гнездо» (см.: Боголюбов, 1951, 63). Его интересует язык Мамина. Он составляет подстрочные примечания к роману «Три конца» и «Объяснение некоторых непонятных слов» (23 слова) в конце книги, где особенное внимание уделяет толкованию старообрядческих понятий и лексик (Беловодье, начал, начинать, лестовка, кафизмы, кацея и др.). «Объяснение отдельных непонятных слов» – далеко не случайная лингвистическая работа Бажова. Она велась одновременно (либо предшествовала) составлению значительно более объемных «Объяснений отдельных слов, понятий и выражений, встречающихся в сказах», которые присутствуют во всех прижизненных изданиях книги «Малахитовая шкатулка». Важным событием в литературной жизни Урала Бажов считает вышедшее в Свердловске в 1936 году под ред. А. Ладейщикова 5-томное собрание сочинений Мамина³.

Бажов не обходит вниманием научную и критическую литературу о Мамине-Сибиряке. Надо полагать, что он следил за нею всю жизнь, о чем свидетельствует не только его доклад-статья «Д. Н. Мамин-Сибиряк как писатель для детей» (1913), но также выступление на Первой научной конференции, посвященной Мамину-Сибиряку (1941), в котором высоко отзывается о докладе пермского профессора Е. А. Боголюбова, оставившем у него впечатление «первой исследовательской работы о Мамине-Сибиряке» (см.: Бажов, 1955, 82). Если Бажова не затрагивали обвинения в «атеоретичности», адресуемые Мамину, то он решительно не соглашался с характеристикой Мамина как пессимиста. Между тем мнение о «трагичности» Мамина было достаточно широко распространено на рубеже веков. Сошлемся на одного из первых исследователей творчества уральского писателя: «Тоска о несовершенстве жизни, о ее бесцельности, ее жестокой убыли, жалость к жертвам подгнивших основ невозможного строя, с одной стороны, и жертвам “роковых расстановей” живо чувствуется в рассказах, вошедших в сборник Мамина “Около господ”, заключающий в себе, кроме названного рассказа, еще два очерка: “На чужой стороне” и “В услужении”. Тут и серый мужик, раньше занятый своим хозяйством, печальным, почти нищенским, а затем превращенный, по милости доброго господина, в егеря, а далее в вора, занимающегося браконьерством, и полусерая кухарка, которую судьба заносит к хорошим господам, а потом губит. И тут же ярко изображается жизненная неурядица. Добрый барин, оторвавший мужика от его хозяйства, большой весельчак, остроумец, огорошивает своего егеря, того самого мужика, такой исповедной тирадой: “А для чего жил, Пал Игнатьич, по-твоему? – говорит он о себе. – Ел, пил, наживал капитал... У меня тысяч четыреста есть. Ну, и что же? У тебя их нет, а умрем одинаково за милую душу... Ах, тоска, тоска, тоска... А все думаешь, что это только пока, что потом что-то такое будет, что-то новое, радостное и счастливое, и что ты проживешь жизнь не даром. Да... А в сущности получается одно свинство, и никому ты не нужен и никто о тебе не пожалеет”. Этой тирадой объясняется довольно ясно авторское признание, пессимизм писателя, очень

² Очерк Д. Н. Мамина-Сибиряка «Бойцы» выходит под редакцией и с предисловием свердловского журналиста П. Велина.

³ Первый небольшой сборник произведений Мамина-Сибиряка появился на Урале в 1900 году (см.: Золотая лихорадка, 1900).

мало верящего в “господ” и думающего, что от прикосновения к ним людей серых последние мало выигрывают, и что ни мужик, ни прислуга хотя бы и “хороших господ” не может повторить строчки старого стиха: “Хорошее знакомство в прибыль нам!”» (Быков, 1915, 28 (XXVIII)).

Бажов не допускал прямого уподобления позиции Мамина позициям отдельных его героев. Он знал, как горячо любил Мамин свои «милые зеленые горы», любил детей, верил в добрые начала человеческой души и стремился уловить жизнь «во всех красках». Автор «Малахитовой шкатулки» резко полемизировал с М. Неведомским, который находил «начала пессимизма» не только в творчестве, но и в самой личности Мамина-Сибиряка: «Неиспользованная сила – вот два грустных слова, которые всегда просились у меня на язык при мысли об этом крупном художнике. Неиспользованная русской жизнью, русской культурой и в связи с этим и благодаря этому – и самим обладателем силы, самим Маминым...» (Воспоминания о Мамине-Сибиряке, 1936, 192).

В полемике с Неведомским автор «Малахитовой шкатулки» ссылался на Ленина, который «сказал крылатое слово, что сам Неведомский оказался “чистейшим, законченнейшим воплощением общечеловеческого, идеологического начала – начала празднословия”» (Бажов, 1955, 82). В наши дни ссылка на многие работы Ленина не считается научным аргументом, как это было в 30-е–40-е и некоторые последующие десятилетия. Убедительнее звучит метафорически выраженная логика Бажова: «певец Урала» не мог быть пессимистом; Бажову ближе жизнеутверждающий, гуманистический пафос тех слов, которые принадлежат повествователю из романа «Черты из жизни Пепко»: «Жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец – вот где настоящая жизнь и настоящее счастье».

В современном ему литературоведении Бажов не без оснований видел опасность чрезмерного социологизирования произведений Мамина-Сибиряка. Свидетельство К. Боголюбова: «Вспоминается встреча с П. П. Бажовым в 1936 году в издательстве. Павел Петрович крепко тогда пожурил меня и Ладейщикова за неудачные статьи о Мамине-Сибиряке. “Вы все на социологию напираете – народник или не народник. А весь Мамин-то художник, да еще какой. Вот о художнике-то и надо говорить...”» (Боголюбов, 1951, 54). Мамин как «яркий, талантливый художник, чувствовавший прекрасно жизнь, вбиравший ее в себя» не подходит под прямолинейные социологические истолкования, над которыми откровенно издевался Бажов: «Вот так вот мы и доходим до высказываний: “Бойцы” и в скобках – “Раскрестьянивание деревни”; “Приваловские миллионы” и в скобках – “Крах народнических иллюзий”. И это уравнивается. У читателя создается мнение, что, значит, Мамин брал какую-то идею и к этой идее подбирал какой-то материал... На самом деле, мне кажется, что Мамин шел как раз обратным путем...» (Бажов, 1955, 83–84).

Остается задаться вопросом: приблизилось ли современное маминоведение к постижению Мамина-Сибиряка как большого художника во всем многообразии его жанров, тематики, нравственно-психологических, социальных и философских конфликтов? Надо полагать, что именно таких исследований ждал Бажов от уральских литературоведов.

Бажов П. Д. Н. Мамин-Сибиряк: (К десятилетию со дня смерти) // Красный путь (Камышлов). 1922. № 100. 15 нояб.

- Бажов П. П. Карта «дубинщины» // Крестьянская газета. 1928. № 80. 7 нояб.
Бажов П. П. Публицистика. Письма. Дневники. Свердловск, 1955.
Батин М. Павел Бажов. Свердловск, 1983.
Боголюбов К. В. Наш Бажов // Южный Урал. 1951. № 5.
Быков П. В. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Критико-биографический очерк // Д. Н. Мамин-Сибиряк. Указ. соч. Т. 1. Пг., 1915.
Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке. Свердловск, 1936.
Дергачев И. А. Дела литературные // Мастер, мудрец, сказочник: Воспоминания о П. Бажове. М., 1973.
Дергачев И. А. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность, творчество. Свердловск, 1977.
Мамин-Сибиряк Д. Н. Золотая лихорадка: Очерки и рассказы. Екатеринбург, 1900.
Мамин-Сибиряк Д. Н. Покорение Сибири // Мамин-Сибиряк Д. Н. Зимовье на Студеной: Рассказы, очерки. Свердловск, 1978.
Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 6 т. М., 1981.
Неведомский М. Зачинатели и продолжатели. Поминки, характеристики, очерки по русской литературе от дней Белинского до наших дней. Петроград, 1919.
Урал. 1987. № 12.

Л. С. Соболева

ИСТОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Размышления времени о староверии



Осознание Д. Н. Маминым-Сибиряком особенностей уральской жизни во многом связано с изображением старообрядчества. «Для Мамина раскол – явление народной жизни, над которым следует задуматься не для того, чтобы “разоблачить” несостоятельность религиозных догм, а чтобы понять, чем была вызвана “смута”, чем подерживалась, какие силы души приводит в движение, какую роль играет в жизни сегодня», – писал авторитетный исследователь творчества писателя И. А. Дергачев (1977, 56). Об особенностях раскрытия темы старообрядчества в творчестве Мамина-Сибиряка и, в частности, об отношении писателя к творчеству Аввакума писалось неоднократно (см., например: Дергачев, Соболева, 1984, 22–34). Необходимо особо упомянуть обзорную статью В. С. Приходько, ценность которой состоит в обращении к архивным материалам, хотя характеристика образного воплощения писателем феномена староверия самая общая (см. об этом: Приходько, 1982, 111–119).

Между тем понимание уральским писателем исторического пути старообрядчества и значения этого явления в русской жизни очень неоднозначно и многогранно. Для своего времени художественный путь познания староверия Д. Н. Маминым-Сибиряком оказывается в наибольшей степени адекватен сложности и национальной уникаль-